

Сергей
СНЕГОВ

Книга бытия



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
С 53

Серийное оформление АНДРЕЯ РЫБАКОВА

Оформление обложки ВАЛЕРИЯ ГОРЕЛИКОВА

В оформлении книги использованы фотографии
из семейного архива автора.

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-24352-1

© С. А. Снегов (наследники), 2007

© Оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство КоЛибри®

*«Я прожил жизнью
в этом мире две...»*

ЭТО БЫЛО, НАВЕРНОЕ, В САМОМ НАЧАЛЕ 1990-х.
В доме собралось человек десять — праздновали день рождения. Преобладали молодые женщины.

Во главе стола сидел хозяин — за-восемидесятилетний, маститый. На его книгах выросло много людей, им восхищались и его не принимали, о его эрудиции рассказывали легенды. Все гости, конечно, были с ним неплохо знакомы, но приличествующий случаю пиетет читался почти на каждом лице.

Комната была сравнительно большой, но узкой — и человек, возглавлявший стол, был надежно заблокирован. Собственно, у него было только два способа покинуть свое место: либо выходить на балкон и лезть через кухонное окно, либо поднимать по очереди каждую женщину и пытаться протиснуться у нее за спиной. Первое, учитывая возраст, было рискованно, второе — долго и обременительно.

И надо же было так случиться, что зазвонил телефон! Звали, естественно, хозяина.

Все еще только собирались подняться и дать ему дорогу, когда он опустился на четвереньки и пополз под столом. Гости оторопели. Через пару минут из-под стола показалась лысая голова, классик региональной литературы зацепился рукой за столешницу, встал, закатил глаза, сказал с придыханием (сильно подозреваю, что это был способ отдышаться): «Какие ножки!» — и взял телефонную трубку.

Я очень хорошо помню этот момент, потому что это был мой день рождения.

Трудно говорить о собственном отце — так и хочется отстраниться и остаться объективной (ну хотя бы попытаться это сделать...). Но, наверное, отстранение — не лучший способ рассказать о человеке, тем более в предисловии к такой книге.

Папа до смерти оставался одесским босяком. У бабушки было пятеро детей — выжил он один. Иногда мне казалось, что вся жизненная сила, которая была отпущена на их долю, без остатка перешла к нему. Иначе просто невозможно объяснить, каким образом он выдержал то, что ему выпало.

Он родился очень давно — в начале XX века, в 1910-м. Сейчас очень немногие люди могут вспомнить то время — если они вообще остались, те, которые помнят. Может быть, именно поэтому он должен был написать эту книгу.

Папа был обязан рассказать о дореволюционной Одессе, о знаменитой босяцко-бандитской Молдаванке, о буйстве и безумии первых лет революции, о Гражданской войне, о голоде начала двадцатых, когда на базарах продавали человечину, о том, как младенчески наивные и все-таки прекрасные надежды на то, что еще чуть-чуть, вот-вот — и жизнь станет просто замечательной, сменились паранойей и манией преследования... Наверное, это было его долгом — иначе, только для себя, ему было бы трудно решиться на «Книгу бытия».

Мне кажется, папе можно и нужно верить — он все это видел. И он очень старался быть объективным — до полной беспощадности к самому себе.

В той большой стране, о которой он рассказывал, жил маленький мальчишка — и судьба его тоже была необычной. Его исключили из гимназии — за хулиганство, до четырнадцати лет он шлялся по улицам, а затем, словно спохватившись, вернулся в школу, чтобы, проучившись в ней чуть больше трех лет, выкрасть документы и поступить в университет.

Мальчишка повзрослел, но остался мальчишкой — рутина ему была скучна. Студент-третьекурсник физического факультета стал доцентом — он преподавал философию. Но этот доцент не умел врать — и, естественно, в его лекциях очень скоро были обнаруже-

ны отступления от догм марксизма-ленинизма. Не нужно объяснять, что это тогда означало.

Жизнь рухнула — и он продолжал жить. Он любил женщин — и они отвечали ему взаимностью, слепо верил друзьям — и они его предавали (нет, конечно, далеко не все и не всегда — и все-таки...), был очень добр и сентиментален — и порой поступал жестоко и несправедливо. Он просто был человеком.

У него, неверующего (в этом неверии он старательно убеждал себя всю жизнь), не было иного способа исповедаться, кроме «Книги бытия».

Это была работа в стол — никто и представить не мог, что когда-нибудь это можно будет напечатать!

Первые двадцать шесть лет папиной жизни — здесь, в этой книге. Оставалось еще пятьдесят восемь, с 1936-го по 1994-й. О них он рассказал в лагерных рассказах и «попытке автобиографии» (его собственное выражение) «В мире иллюзий и миражей»...

Я постараюсь рассказать о событиях, которые не вошли в эти публикации или были упомянуты мельком.

Год 1936-й. Готовился громкий процесс: три друга, три молодых ученых, дети видных и разных родителей (большевика, правого эсера и меньшевика), объединились для того, чтобы уничтожить власть, которая дала им путевку в жизнь. Один из арестованных признал все обвинения — и вскоре сошел с ума и умер в пересыльной тюрьме. Судьба второго неизвестна. Третий — папа — остался отказником. И, возможно, спас и себя, и остальных, потому что открытого процесса не получилось.

Год 1937-й. Приговор Высшей военной коллегии Верховного суда СССР (прокурор — Вышинский, судья — Никитченко, будущий главный советский судья на Нюрнбергском процессе) гласил: десять лет лагерей. Папа отправился торной для того времени дорогой: Бутырка, Лефортово, Вологда, Соловки, Норильск...

В конце 40-х срок заключения истек — остались ссылка и поражение в правах. А в 1952-м папа познакомился с нашей мамой. Она была «вольняшкой», приехала в Норильск по собственной воле. За связь со ссылкой ее исключили из комсомола, выгнали с работы, выселили из общежития. В управлении НКВД пытались спасти от вражеских козней девичью идейную непорочность, маме

предлагали отдельное жилье, которого офицеры ждали по несколько лет, но она стояла насмерть!

Тем временем в Норильске шла чистка. На Большой земле готовилось «дело врачей». После него планировалось выселить из обеих столиц всех евреев — для них нужно было подготовить места в Заполярье. На ссыльных заводили новые дела, приговоры разнообразием не блистали: либо расстрел, либо высылка в лагеря на побережье Ледовитого океана и на острова в Белом море. Собственно, это была тоже казнь — только медленная. Папе определили Белое море. Узнав об этом, мама стала почти непреклонной: ей нужен официальный брак. Она хочет стать членом семьи врага народа! Тогда (даже в лагере!) ей будет легче пережить все, что им уготовано. И папа сдался. На их свадьбе не было гостей, потому что он был уверен: он приготовил своей молодой (на семнадцать лет младше) жене не радость, а муки. Он фактически приговорил ее к смерти.

Год 1953-й. В марте, через три с небольшим месяца после их одинокой свадьбы, умер Сталин.

К тому времени стало ясно, что из трех дорог (философия, физика, литература), которые некогда открылись перед папой, осталась только писательская.

Год 1955-й. Реабилитация. Она шла негладко. Тем, кого судили «тройки», было попроще. Но решение Верховного суда мог отменить только сам Верховный суд, а там была очередь. Наконец папу вызвали в Москву получать чистые документы. Генерал КГБ сказал: «Сергей Александрович, я поздравляю вас! И хочу предложить написать заявление против вашего судьи Никитченко. Сейчас он живет у себя на даче, под домашним арестом. Нам нужен повод, чтобы завести на него дело». Папа отказался. Он не хотел, чтобы главный советский судья на Нюрнбергском процессе был признан преступником. Генерал засмеялся. «Везет этому Никитченко! — сказал он. — Сами понимаете: вы не первый, кому мы это предлагаем. Но Иона Тимофеевич выбирал себе хороших обвиняемых: все отказались — и объяснили это так же, как вы».

А дальше наступила свобода. Впрочем, в определенном смысле она была весьма условной — папа рассказал об этом в своей автобиографии. К тому же в одной из первых его повестей — «Иди до конца» — был эпизод, когда герой слушает «Страсти по Матфею» Баха и размышляет о Христе (это сочувственное изображение было

первым в советской литературе). Профессор Боннского университета Барбара Боде в своем ежегодном литературном обзоре заявила, что русские реабилитируют Христа. «Литературная Россия» ответила «подвалом» «Проверь оружие, боец!». Боде не смолчала — газета тоже: статью «Опекунша из ФРГ» предварял суровый эпиграф: «Если тебя хвалит враг, подумай, какую подлость ты сделал!»... Папа попал в черные списки — его перестали печатать.

К тому же он не хотел лгать — даже когда не мог сказать правду. Если можно было молчать, он молчал, когда молчать было нельзя — говорил. Честно. Его вызывали в обком и КГБ и предлагали подписать письма против Пастернака и Даниэля с Синявским — он отказался (да еще на выступлении в КТИ в присутствии наблюдателя сказал, что мы все еще будем гордиться, что жили в одно время с Борисом Леонидовичем!). После событий в Чехословакии нам домой позвонил заместитель начальника управления КГБ области — Комитету было поручено собрать отзывы интеллигенции, а мнения Снегова информаторам узнать не удалось... Не может ли Сергей Александрович лично, в порядке одолжения, сообщить, как он относится к вводу нашей армии в дружественную страну? Папа был краток: «Это ошибка, за которую мы будем расплачиваться десятилетиями!» Его вежливо поблагодарили — а его и без того пухлое досье пополнилось очередной записью...

И уж совсем легендой стало его выступление на каком-то очередном официальном собрании интеллигенции в областном театре. Доведенный до отчаяния (это было время, когда его не печатали), он неожиданно ткнул пальцем в лозунг с ленинской цитатой, висящий над сценой, и почти прокричал: «Ленин говорил, что искусство принадлежит народу. Но он никогда не утверждал, что оно принадлежит партии!» Формально папа, конечно, был прав, но вот по сути... Впрочем, как ни странно, это почти сошло ему с рук.

Я часто думаю: возможно, папу не трогали потому, что считали кем-то вроде городского юродивого (такие тоже были нужны).

Прежняя папина профессия напомнила о себе только в 1972 году, когда он написал повесть «Прометей раскованный», посвященную западным физикам, своеобразным продолжением которой стали «Творцы» — рассказ о физиках советских, за который он взялся по просьбе Я. Зельдовича и Г. Флерова. Казалось бы, у этой книги была счастливая судьба — но счастье это было тоже не совсем пол-

ноценным. Третья часть «Творцов», в которой говорилось о создании и об испытании бомбы, была запрещена, рукопись конфисковали. Правда, называлось это уже по-другому, да и проделано было поделikatней.

Папа был в Москве (как раз тогда там изымали рукопись из издательства), когда к нам домой явился молодой человек и объяснил маме: издательству срочно нужны дополнительные ее экземпляры и оригинал (требуется сверить кое-какие цифры и факты), а телефон в квартире уже несколько дней не работает. Единственное, что сумел сделать Сергей Александрович, — это послать за ними его, редактора, по личным делам оказавшегося в Калининграде. Естественно, молодой человек был в курсе всех деталей и знал имена и отчества всех друзей и родственников...

Он не учел только одного: все-таки он имел дело со старым лагерным волком. Один экземпляр папа успел сдать в архив. Возможно, эта рукопись и сохранилась.

Нет, не от хорошей жизни он ушел в фантастику! Но его первый фантастический роман «Люди как боги» отвергли подряд четыре издательства — по мнению рецензентов, в обществе будущего, нарисованном Снеговым, ощущалась явная нехватка коммунистической идеологии и упорно тянуло тлетворным духом Запада... Кстати, много позже, когда «Люди как боги» все же увидели свет и книгой заинтересовались в США, во Всесоюзном агентстве авторских прав запретили ее перевод на английский язык. Объяснение было прежним: это произведение нетипично для советской литературы и не отражает ее высокого идейного уровня... И все же именно фантастика, переведенная на восемь языков, принесла папе известность (из суммарного тиража его книг — около 2 млн экземпляров — 1,3 млн приходится именно на нее). А после выхода романа «Люди как боги» на немецком языке в Дрезденском университете на трех факультетах — философском, физическом и филологическом — прошли научные конференции: студенты пытались разобраться, насколько возможно будущее, которое он придумал, и насколько реальны физические принципы (превращение вещества в пространство и наоборот), которые он предложил.

Но папа все-таки успел сказать свою правду — к сожалению, не до конца. Он довел «Книгу бытия» только до ареста. Точка была поставлена за двадцать дней до его смерти.

А теперь — очень личное.

Печатала «Книгу бытия» (как и все остальное за их сорок два года) мама. Я не знаю, что она чувствовала, когда аккуратно разбирала по экземплярам рассказы о любви своего мужа к другим женщинам. Но я помню строчки из папиного письма (он тогда был в Комарове, куда уезжал каждую зиму — работать) — я прочитала его уже после того, как их обоих не стало: «Галочка, я понимаю, как тебе сейчас трудно. Но я хочу, чтобы ты помнила: это все было до тебя».

Ему шел восемьдесят четвертый. У него были два инфаркта и диабет. Правда, он, как всегда, не очень с этим считался — но в таких случаях близкие обычно начинают готовиться. Нет, не ждут, конечно, не ждут! Боятся, не хотят, отказываются верить... И все-таки — все мы смертны. А тут еще операция. Не знаю, о чем думали наши друзья и знакомые, но реакция их была на удивление одинаковой: «Как? Почему? Не может быть!»

Каким образом он ухитрился нам внушить, что бессмертен?

Первая папина жена называла его принцем холодных улиц. «Я король сегодня. Король снегов», — с горечью говорил он в лагере. И спустя сорок с лишним лет, в девяносто четвертом, очень старый и очень уставший, он, наверное, все-таки остался королем. Тогда, в феврале, в день его смерти, я впервые видела зимнюю грозу. Уже стемнело. Снег был мелким, жестким и частым — метель, свистящее и постанывающее белесое марево. И сквозь него били молнии и гремел гром. Это было, правда!

И еще одно. Когда-то он сказал о себе — как обычно, честно и, как обычно, беспощадно:

Я прожил жизнью в этом мире две.
Всего лишь две! Одну — пустяк, жизненок,
Набор дерьма и чепухи — свою.

Вероятно, он имел право так говорить — потому что вся его гордыня, о которой он так охотно и (чего уж там!) с такой гордостью поминал, уходила на то, чтобы мерить себя только абсолютными мерками, до которых человек не может дотянуться по определению. Легко быть кривым в царстве слепых, но папа хотел не этого. Его самолюбие было неотделимо от самоуничужения.

И все же — «набор дерьма и чепухи»... Не знаю. Не верю. Не согласна! В конце концов, я тоже имею право на собственное мнение. И потом — дальше в том стихотворении было сказано:

Другую — за других. За всех других.
За человека и за зверя. За
Траву и камни, океан и небо,
Планеты и пространства. За тебя
И за него. Короче, я в себя
Вобрал все радости, все муки мира,
Все истины его, все заблуждения,
Всю ненависть, всю нежность,
В общем — все.

И вот это было уже чистой правдой.

Поэтому мы и не стали менять рискованное название этого произведения — «Книга бытия». Папа сам, не то посмеиваясь, не то слегка кокетничая, частенько называл его претенциозным. Но это не кощунство и не богохульство — это действительно книга бытия. Разумеется, всего лишь человеческого.

Но, может быть, именно в этом его сила.

Татьяна Ленская

Часть первая
Младенчество

1

КАК И У ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА, ЖИЗНЬ У МЕНЯ БЫЛА ПОЛНА важных событий: в одних проявлялся лик эпохи, они были общими для всех, я называю их своими с тем же правом, с каким песчинка, взметенная бурей, с гордостью и страхом говорит: «Я — ураган!» Другие касались только меня, проистекали из глубинной моей сути. Но все объединяла одна черта — считаю ее характернейшей из моих особенностей: видимость в них не совпадала с сущностью. То, какими они представлялись и мне, и моему окружению, разительно отличалось от того, какими они были реально. Пляска теней в кривом зеркале — вот самая точная формула моего жизненного пути.

А для любителей философии скажу по-иному: ноумен, моя жизнь (в ее истине), как-то, конечно, была связана с феноменом, ее внешним обликом, но то была связь опровержения, а не отражения. В отчаянии и ярости я часто утешал себя: видимость бытия и есть его сущность, и нечего хулить неудачно устроенное мироздание. Но такого трусливого успокоения хватало ненадолго: я все же был мыслящим человеком.

2

Первым важным событием моей жизни было то, что я родился. Это произошло 23 июня 1910 года по старому стилю, в замечательный языческий праздник Ивана Купалы, когда наши предки повсюду разжигали костры и в нарядных одеждах, с венками на голо-

вах кричали и пели, прыгая через огонь и славя таким причудливым способом набравшее летнюю ярость светило.

Правда, я родился уже утром, на угасании костров, но жар их еще поныне животворит душу, и с солнцем мы старые приятели — чем его больше, тем мне добрей. Но солнца мне слишком часто не хватало. Долгие годы в полярных снегах я неустанно тосковал по нему. Рождение в праздник солнечного бога, казалось, сулило избыток света и пламени, но видимость и тут злорадно показала затылок: тьмы в моей жизни случалось больше, чем света, мороза больше, чем жары. К тому же у писца Михайловской церкви, где зафиксировали факт появления на свет еще одного раба Божьего, почерк был со слишком красивыми завитушками, июнь превратился в июль, и я потерял прекрасный день рождения, получив взамен ничем не примечательное 23 июля (5 августа по новому стилю). Мать никогда не признавала злополучной описки в метрике, но паспортный режим неумолимо строг — я покорился, сохранив в себе привязанность к язычеству и тайное собратство с солнцем.

Итак, я родился. Это, пожалуй, единственное, что можно считать твердо установленным. Костры, пылавшие в ту ночь в далеких от нас тысячетелтях, и песни, доносившиеся оттуда же, не дали матери заснуть. Всю ночь она металась — начались родовые схватки. Отец работал на плужном заводе Гена, он ушел по рассветному гудку, оставив жену в муке творения новой жизни. И мать родила, едва он скрылся.

Не знаю уж, кто меня принимал, — какая-то акушерка, наверное, была. Мать говорила, что, когда меня ободряюще хлопнули по попке, я не заплакал, как полагалось, а засмеялся. Этот мой первый смех — тоже одна из обманчивостей моего бытия — стал постепенно семейной легендой. С той поры меня бесчисленно тузили по задку — физически и фигурально, — но способности смеяться я не потерял. Улыбка — дверь души человека, в смехе всего ярче проявляется характер. Причин для слез у меня в жизни было куда больше, чем для веселья, но на слезы я остался туговат, а смеялся часто — легко, радостно, весело, недоуменно, горько... Как когда.

Я начал с необычного — встретил жизнь улыбкой, а не гримасой. Впрочем, впоследствии необычности стали для меня обычными — так что все было в порядке.

Но я не просто родился. Я родился преувеличенный. В матери, когда я смог оценить ее рост, было около полутора метров, а весу

больше пятидесяти килограммов она никогда не набирала. И такая крохотная, в общем-то, женщина выдала без долгих страданий и разрывов улыбающегося мальчика ровно в тринадцать фунтов (почти пять с половиной килограммов). «Какой великан! Вот уж воистину будет богатырь!» — восхищались бабушки, дед и соседки, обманутые видимостью гигантизма. Однако даже в лучшие свои времена я не превзошел ста шестидесяти семи сантиметров, то есть не сравнялся и со среднерослым современным человеком. Голодные годы оборвали мой рост. Голова и туловище справились, ноги своего не добрали. Вряд ли между восемью и двенадцатью годами я прибавил хоть сантиметр.

Низкорослость меня не угнетала. Я мерил себя не по телу, а по духу.

Мать, разродившись, несколько часов отдыхала, а потом поднялась, оделась и села у окна, поджидая отца. Он увидел ее издали и вообразил, как всякий на его месте, что родов еще не было. Вбежав в квартиру, он схватил мать на руки и закружился с ней по комнате. Она смеялась, а он лишь после нескольких виражей вдруг с испугом осознал, что вес жены основательно уменьшился, да и габариты уже не те. Осторожно положив ее на кровать, он выхватил меня из прикрытой колыбельки и снова дикарски затанцевал — уже со мной.

Мать умоляла его успокоиться, обе бабушки негодовали — боялись, что он закружит мою нестойкую еще головку, дед сердился, а отец плясал и радостно кричал.

Мне часто описывали мое знакомство с отцом, я не мог в это не верить, но вера до сердца не доходила — очень уж властный, умный, недобрый человек, какого я знал, не походил на взбалмошного юного мужа и ошалевшего папашу, каким его дружно рисовали.

Носить людей на руках он, впрочем, любил. Женщин он покорял также и этим. И эту страсть к тасканию подружек на себе он передал мне, а я своему сыну Евгению — любопытная генетическая особенность нашего рода.

3

Раз уж я заговорил об отце, расскажу о нем подробнее. Дела его пройдут через все мое младенчество, а то, что деятели розыска называют словесным портретом, я постараюсь дать уже здесь.

Отец был невысок — немного повыше мамы, очень широкоплеч, очень силен, очень ловок. И к тому же элегантен, в праздники — великолепно наряден и самое главное — чертовски красив, во всяком случае в молодости. Женщины оглядывались, когда он проходил мимо, — так меня уверяла тетя Киля, горячо почитавшая своего старшего брата.

Они не только оглядывались, но и заглядывались на отца — отец, впрочем, отвечал им тем же. Он был, конечно, лихим женолюбом и не собирался этого скрывать — здесь, мне кажется, таились корни их вечных раздоров с мамой. Мать не могла примириться, что существуют еще другие женщины, она хотела быть если не одной в мире, то по крайней мере единственной в его мирке. А он, хоть и всерьез исповедовал догму: «...а люблю лишь тебя одну!», не смог превратить таинство страсти к женщинам в простую житейскую тайну. При последнем нашем свидании он говорил мне: «Зиночка была у меня на сердце, остальные — от встречи к встрече».

Думаю, он преувеличивал горе своего разрыва с матерью и легкость отношений к другим женщинам. Пятидесятилетний, он женился на восемнадцатилетней девушке.

— По любви, — доверительно сообщила мне тетя Киля. — Такая любовь — страх!

— С чьей стороны любовь? С его? — иронически поинтересовался я.

— С обеих, — убежденно сказала тетя. — Говорю тебе: влюблены просто ужасно.

Что до характера, то его отец вполне мог бы подобрать себе и лучше. Полунемец-полугрек по крови, русский по основному языку, он совместил в себе многие дурные черты своих народов (наряду со многими добрыми) — вспыльчивость, задиристость и быстрый ум грека, сентиментальность, жестокость и основательность немца, беспорядочность и широту русского. Сочетание получилось и редкое, и резкое.

Соседи его не любили и побаивались. Он ни с кем особенно не церемонился, язык у него был гибкий и легкий — на стихи и мат, любовные признания и несусветные поношения, а руки сами хватались за нож. Кстати, владел ножом отец артистически. Мать рассказывала, что, когда была беременна мной, его, пьяного, возвращавшегося ночью домой, подстерегли обиженные им хулиганы. Он вы-

хватил нож, но справиться со всеми не сумел и упал. Мама вихрем налетела на толпу, повалилась на отца животом и прикрыла руками. Чтобы не зарезать женщину, хулиганы били ножом под нее — и лишь немного поранили отца. А когда, отвечая свистку городского, спешившего к месту драки, кругом залились свистки дворников, нападавшие скрылись.

Отец, поднявшись, хотел бежать за ними, но мать непустила. Он дико матерился и грозил всех перерезать. Никого, конечно, не зарезал, но, если приходилось возвращаться одному в темноте, старался не напиваться. Этого вполне хватало, чтобы на новое нападение не осмеливались.

Вот два свидетельства отцовской чудовищной ловкости. Была, вероятно, весна 1914 года (еще до высылки его в Ростов-на-Дону — это произошло после начала войны). Мы вчетвером — мама, отец, мой старший брат Витя и я — отправились на второе христианское кладбище. Там была похоронена сестра Нина (она умерла, когда ей исполнился год, — еще до нашего с Витей рождения). Наверное, это происходило в воскресенье — воскресенье было традиционным днем посещения Нининой могилки.

Что было на кладбище, не помню, а вот совершившееся на обратной дороге вижу словно вырезанное на камне. У моего брата был костный туберкулез — Витя передвигался с костылем (вскоре понадобился и второй). Мама с отцом шли впереди. Обычно мы проходили под виадуком, а в тот день поднялись на насыпь и пошли через линию железной дороги. Родители уже спускались с насыпи, когда мы с Витей вышли на полотно. И надо же было случиться, что в эту минуту из-за поворота вынесся разогнавшийся маневровый паровоз. Витя заторопился, зацепился костылем за рельс и свалился на колею. Затормозить машинист уже не мог, он лишь отчаянно засвистел — я так же отчаянно закричал. Отец обернулся и непостижимо прыгнул вверх. Все произошло в какие-то доли секунды — распластавшись у рельсов, он схватил Витю и перебросил через себя, паровоз ударил отца решеткой в плечо и отшвырнул вниз — вслед за сыном.

Локомотив остановился метрах в пятнадцати, и, когда машинист подбежал к нам, отец уже держал Витю на руках. Не знаю, сохранился ли костыль или был раздавлен колесами, но хорошо помню, что до дома отец нес брата на руках и Витя, перегнувшись че-

рез его плечо, смотрел на меня серьезно и хмуро — огромными, умными, недетски серьезными глазами...

Позже, в школе и институте, я часто приходил с товарищами на эту насыпь — и мы пытались повторить отцовский прыжок, но и трети дистанции не одолевали. Не хватало, видимо, удивительной силы и стремительности отца, да еще нужно было увидеть, что вот сейчас, на глазах твоих, если ты опоздаешь хоть на сотую секунды, погибнет твой сын...

А второй случай произошел уже после Витиной смерти, летом семнадцатого, перед окончательным разрывом матери и отца (он ненадолго вернулся тогда из ростовской ссылки). Вероятно, тоже было воскресенье — родители пошли гулять в сад общества «Трезвость» (он был разбит около Чумки — большого холма над общей могилой погибших от давней одесской чумы). Звенела музыка, по аллеям шествовали разряженные парочки. Думаю, и мать, красивая, хорошо одетая, молодая (ей шел двадцать восьмой год), и отец, тоже красавец, при галстукке, в шляпе, в праздничном костюме, в перчатках, не только не терялись, но и выделялись в этой толпе.

Во всяком случае, я, тащившийся позади (меня отвлекали аттракционы и лавчонки), увидел, как двое мужчин удивленно уставились вслед родителям. Одного, огромного, тяжеловесного, редкого силача, я знал — это был кузнец, недавно поселившийся на нашей Мясоедовской. Мы часто бегали к нему в кузню смотреть, как ловко он орудовал ручником, ремонтируя детские коляски, и как тяжело бил кувалдой, превращая бесформенный кус раскаленного железа в колесный обод.

Кузнец с возмущением сказал второму, незнакомому, низенькому:

— Тю, да это не Зиночка ли с Мясоедовской?

— Зиночка, — скорбно подтвердил незнакомец. — Та самая, что в газетном киоске сидит.

— А с ней чужак? Да он о двух головах! И нам смотреть, как чужаки наших женщин уводят? Отошьем!

— Отошьем, — согласился низенький.

— И так отлупим, чтобы опосля всю Молдаванку берегом моря обходил!

— Отлупим.

И они поспешили за родителями.

Я побежал следом. Не уверен, что предупреждать отца об опасности, — но драку посмотреть хотелось, это помню. Драки, однако, не получилось — слишком односторонним было избиение. Низенький, более наглый (если не более храбрый), схватил отца за руку — и тут же с жалобным визгом рухнул навзничь. Высокий, бесцеремонно рванувший было к себе маму, с воплем: «Наших бьют!» — ринулся ему на помощь. Он был на голову выше и раза в полтора толще отца и уже занес над ним чудовищный кулак, но отец ударил его в подбородок. Кузнец отлетел, врезался головой в дерево и распластался рядом с товарищем.

Отец неторопливо поправил шляпу, повернулся к испуганной маме, церемонно подставил ей согнутую в локте руку и громко сказал:

— Пойдем, Зиночка!

Они пошли дальше прогулочным шагом.

Я, конечно, задержался. Низенький, вскочив, поспешно удрал. Кузнец ощупал голову и попытался догнать отца. Но его схватили набежавшие люди, и я слышал, как они горячо втолковывали ему: «И не смей! Это же Сашка Козерюк! Он зарежет тебя, коли сунешься. Богу скажи спасибо, дешевкой отделался».

Не знаю, вознес ли кузнец благодарность Богу, но родители гуляли в саду «Трезвости» допоздна — и никто к ним больше не приставал.

Чтоб закончить эту главу, добавлю анкетных данных. В 1910 году, когда я родился, отцу было двадцать шесть лет, а маме двадцать один. Я был третьим ребенком в семье. Мать вышла замуж шестнадцати лет, в семнадцать родила Нину, прожившую всего год. Ее смерть так потрясла мать, что и двадцать лет спустя она плакала, вспоминая о дочке. Черноволосая от природы, мама тогда поседела, и лишь постепенно начали отрастать прежние черные волосы. Тетя Кия говорила мне: «До слез было жалко, Сережа, — корешки черные, а весь волос седой, как у старухи. А личико молоденькое-молоденькое, просто девочка!» Впрочем, в семнадцать лет старыми не выглядят — даже поседев.

Витя был старше меня на два года, с младенчества все хворал, а в три года у него открылся туберкулез, который и свел его в могилу семи лет от роду. Был еще брат Боря, родившийся после меня, он тоже болел и рано умер — года в два.

А последним маминым ребенком стал мальчик, так и не получивший имени, — я помню этого младенца, крохотного, с огромной головой, появившегося на свет, казалось, только для того, чтобы тут же сказать миру «прости». Страшное слово «водянка», повторяемое всеми, долго и зловеще звучало в моих ушах. Очень уж нежизнеспособны были творения моих родителей — из пяти детей выжил лишь я один.

4

Виноват в болезненности детей был, видимо, отец, а не мать. Порода, данная им, была порочна в нескольких поколениях и многих проявлениях. По мужской линии отец был из одесских греков, хотя кого-то из моих предков звали Герасимом (не помню, деда или прадеда). Что до отцовского деда, то он был сумасшедшим — об этом в семье говорили часто. Мелкий торговец-грек, что-то наживший за долгую свою одесскую базарную хлопотню, решил возвратиться в родную Грецию, оставив на берегу взрослого сына. Он был уже в помрачении ума — то буйно веселился, то беспричинно горевал, то впадал в ярость и грозил всем ножом. На судне его связали, заперли в каюте и, вероятно, отмантузили, истово исповедуя, что хороший, а главное — своевременный тумак очищает мозг лучше любого лекарства. Прадед притих и правдоподобно разыграл роль нормального человека. Вскоре его развязали и выпустили на палубу. И тут на глазах ошеломленной публики он сверкнул последней сценой своего земного бытия: с ликующим воплем сиганул за борт. Спасти его, как сообщили сыну (назовем того все-таки Герасимом), не удалось. Думаю, его и не старались спасти.

Чем занимался дед Герасим, не знаю, но какое-то вполне приличествующее одесскому греку занятие у него было, иначе он вряд ли покорила бы сердце молоденькой, умной и практичной немки Каролины, моей бабки, приехавшей в буйную Одессу из тихого немецкого селения. До конца своей жизни она плохо говорила по-русски — и вряд ли Герасим владел немецким настолько, чтобы одурять немок-колонисток медовыми речами. Любовь, как это часто бывало в Одессе, возникла у них «деловая» и «теловая», а не словесная.

Снегов С.

С 53 Книга бытия / Сергей Снегов. — М : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 832 с. + вкл. (16 с.).
ISBN 978-5-389-24352-1

«Мы ни единого удара не отклонили от себя...» Сергей Александрович Снегов (1910–1994), известный писатель-фантаст, мог бы с полным правом отнести к себе эти ахматовские строки. Его «Книга бытия» — бесценное, из первых рук, свидетельство человека, которому выпало жить в эпоху очень больших перемен. История мальчишки, одесского босняка, одаренного и дерзкого, развивается на фоне потрясений революции, первых советских трудных лет, террора тридцатых. Снегову удалось до мелочей воссоздать мир ребенка, подростка — своенравного, зависимого от похвалы, ищущего приключений, страдающего и порой жестокого. Постепенно герой воспоминаний мужает, и вот уже подающий надежды молодой ученый читает лекции в университете. Однако неординарность опасна в краю насаждаемого силой тотального равенства. И потому арест в 1936 году кажется почти неизбежным...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СНЕГОВ
КНИГА БЫТИЯ

Ответственный редактор ЕЛЕНА АДАМЕНКО
Художественный редактор ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛИКОВ
Технический редактор ВАЛЕНТИНА ДИК
Компьютерная верстка МИХАИЛА ЛЬВОВА
Корректоры ОЛЬГА ПОПОВА, ЛЮДМИЛА БЫСТРОВА

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 16.01.2024.
Формат издания 60 × 88 1/16. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 51,94 (вкл. вклейку). Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» — обладатель товарного знака КоЛибри®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru	Эндіруші: «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ — КоЛибри® тауар белгісінің иесі, 115093, Мәскеу, қ. ш. аум. Даниловский муниципалдық округі, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19 E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге, 191024, Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12-14, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Отпечатано в России.	Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы, 191024, Санкт-Петербург, Херсон көшесі, 12-14 үй, лит. А Тел. (812) 327-04-55 E-mail: trade@azbooka.spb.ru www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады:
<http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі (29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-APR-33315-01-R